

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

С ДОБРЫМ

У

Т

Р

О

М

19. ФЕВРАЛЯ. 31

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

С ДОБРЫМ УТРОМ

(ЛИРИКА—САТИРА)

1923—1929

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»

МОСКВА

1931

Отпечатано в типографии Госиздата
«КРАСН Ы Й П РОЛ ЕТАРИ Й»
Москва, Краснопролетарск., 16,
в количестве 3.000 экз.
Главлит № А — 86.643
Фосп № 468
Заказ № 2057
5¹/₄ печ. л.



Леониду Осиповичу Утесову

Артисту, Человеку, Другу

1

ВЗБУДОРАЖЕННЫЕ БУДНИ

МОСКОВСКОЕ УТРО

В пол-восьмого, по привычке, я встаю,
и убрав постель и комнату свою,
застываю у раскрытого окна,
из которого вся улица видна.

И люблюсь я с шестого этажа,
как встает она упруга и свежа,
как, зевая и потягиваясь всласть,
восстанавливает прыть свою и власть.

В переулке, что вливается в Арбат,
целый месяц мостовую теребят;
поразрыты, искарежены пути,
переулком ни проехать, ни пройти.

Обстоятельный, солидный пешеход,
каждый камушек с опаской обойдет,
а другой—как молодой гиппопотам,
так и жарит по лопатам и камням.

Вон, с портфелем, важно вышел мой сосед,
он честь-честью приобут и приодет,
а недавно он, спросонья, глуп и вял,
в рваных шлепанцах у примуса торчал.

Вон, Филипповна, приличная на вид,
приосанившись, на рынок семенит,
а недавно она, с горя или так,
чуть не съела всю квартиру на тощак.

Вон, трамваи, в длинный выстроившись ряд,
как солдаты на учении стоят,
а на рельсах захромавший ломовой
рвет и мечет, но с дороги—ни ногой.

А напротив открывается окно,
отлетает занавесок полотно,
и у зеркала—забывшая про стыд—
полуголая красавица стоит.

Через улицу (окно почти в окно)
мы друг с дружкой познакомились давно;
но, как водится в знакомствах из окна,
незнакомы нам друг дружки имена.

Правя волосы и шпильками звеня,
вот опять она заметила меня;
тело наскоро халатом обвила,
заметалась покраснев и... не ушла...

— Успокойся дорогая визави,
раньше времени к соблазнам не зови;
позже, может-быть, и счастье ты мне дашь,
но сейчас ты только портишь мне пейзаж.

Я не праздный соглядатай этих дней,
мне отсюда только выше и видней;
и сейчас-же, эту сутолку и пруть
я попробую на песню перелить.

Как бы ни были гремучи времена,
песня все-таки желанна и нужна,
посмотри на эти будни и поверь,
нам особенно нужна она теперь.

Ты, бездельница, в окно только взгляни,
полюбуйся как живучи наши дни,
как—проснувшись, приободрившись едва,
сколько дел уже наделала Москва.

Июнь 1928 г.

Ливнем Октября освежена,
перелицевавшая свой лик,
слышу, как шумит моя страна,
вижу, как размах ее велик.

Трубный гул по улицам плывет,
утопая в омотах ворот;
это озабоченный завод
опытных сынов своих зовет.

Это значит—каждый рядовой
знает свое место и наряд,
это значит—летом и зимой
думают, волнуются, творят.

Тишины покоя хорошей
буйного круженья кутерьма;
взмахами крылатых этажей
вспархивают свежие дома...

Минин и Пожарский с высоты,
проклиная бронзовый свой плен,
озирают башни и мосты,
удивляясь темпу перемен.

И, вдыхая стройки пыльный пыл,
Пушкин Годунова позабыл,
и на шумном сквере, тих и вял,
Гоголь о Днепре затосковал...

...Там, где прежде, удали полны,
запорожцев плавали челны,
там теперь, грядущего герой,
покоряет бурю Днепрострой.

Провожая сына за бурьян,
мать уже не плачет у стремян,
и, седлая трактора спину,
сын взрыхляет пашен целину...

Это не старинное «авось»
в сказках про Ивана-дурака:
это рожь, пшеница и овес,
полнокровный хлеб наверняка...

... Ливнем Октября освежена,
перелицевавшая свой лик,
вижу, как растет моя страна,
чувствую, как рост ее велик.

Поднимая стройки мирный стяг,
мы не забываем о врагах,
и всегда готовы нашу гать
в пору половодья отстоять.

Ноябрь 1929 г.

ПЯТИЛЕТКА

После топота копыт,
после гула, после грома,
обновляется наш быт
и на улице и дома.

Строят новые дома,
новым людям на здоровье;
сходит старое с ума,
со Христом у изголовья...

Мы и лесом и водой
и покрыты, и омыты,
мы огромной широтой
перед миром знамениты.

С древних лет до этих пор
не балованный призором,
необъятный наш простор
неприглядным был простором.

От Амура до Кремля,
от Кавказа до Урала
полуголая земля
тщетно руки простирала...

...Автор голову склонил
над линейкой и бумагой;
ткнул пером во тьму чернил
с древне-рыцарской отвагой.

Думал десять с лишним лет:
где быть хлебу, где быть лесу,
и придумал напослед
замечательную пьесу.

Пьеса принята страной,
и, без тайнств закулисных,
развернули гений свой
режиссеры и артисты...

Я смотрел на первый акт
в ожиданьи перерыва,
чтоб в антракте натошак
по привычке выпить пива.

Легкомыслен и игрив,
я забыл, что в куче фактов,
упразднен был перерыв
автором текущих актов...

Заплетались и плелись
петли действия со сцены,
и легко среди кулис
перестраивались смены.

И о пиве я забыл,
ставши старше от вниманья,
будто трезвенником был
от начала мирозданья.

Даже с малого угла,
предназначенного взгляду,
необъятна жизнь была
и подобна водопаду.

И, дыханье затая,
я подумал, зубы стиснув,
как нескладна жизнь моя
по сравненью с этой жизнью.

Жил я, рифмами трубя;
но, поэту и повесе,—
как мне выявить себя
в пятиактной этой пьесе.

Сам я издавна актер,
не одна мне льстила сцена,
но боюсь, что с этих пор
роль моя второстепенна...

Вот я голову склонил
над распластанной бумагой,
ткнул пером во тьму чернил
с дон-кихотовской отвагой.

Что-же дальше? Шорох строк,
то-есть только дуновенье,
только робкий ветерок
подлинного вдохновенья.

Мне бы мощью обладать
музыкальной, как Бетховен,
чтоб сумел я передать
эти тысячи симфоний.

Чтобы в рокоте строки
не хрипел мой пафос хилый,
а стучали б молотки
да повизгивали пилы...

Мне же...только из окна
видно, будто бы со взгорья,
как растет моя страна,
всюду с трудностями споря.

Воздвигаются дома
новым людям на здоровье;
сходит старое с ума,
со Христом у изголовья.

Ноябрь 1929 г.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗВОЗЧИК

В трущобинах Марьиной Рощи,
под крик петуха да совы,
живет он, последний извозчик
усопшей купчихи Москвы.

С рассветом с постели вставая,
тревожа полночную тьму,
он к тяжкому игу трамвая
привык и прощает ему.

Его не смущает отсталость,
пока не погашен кабак,
пока его правом осталось
возить запоздавших гуляк.

Но все-же он чувствует,—скоро,
прорезав полночную тьму,—
династия таксомотора
могильщиком будет ему.

И скорбный, на лошади тощей,
стараясь агонию скрыть,
везет он из Марьиной Роши
свою одряхлевшую прыть.

Апрель 1929 г.

ТРАМВАЙ № 15

Ветра быстрей, неизбежной могилы,
в кольца закован, огнями гоним,
плавай же, плавай, мой лебедь бескрылый,
лейся по вьющимся рельсам своим.

Гордой руке человека послушен,
в тысячи сил человека сильней,—
всем ты услужлив, ко всем равнодушен,
всюду всеобщий, и все-же ничей.

Где бы ни шел я—езде ты навстречу,
как бы ни бегал я—ты впереди;
вечно гнетешь мою прыть человечью,
вечно насмешкой гремишь на пути.

Я удивляюсь, я просто не верю,
будто б какой-то мечтатель-Уэльс
этому неукротимому зверю
выдумал тесную клетку из рельс.

Сердце железное, лик деревянный;
вечером теплым, при теплой луне,
вот ты летишь, как зарница румяный,
страшный и дикий, как тигр в западне.

Блеском витрин ослепляя прохожих,
как бриллиант в миллионы карат,
вьется и гнется и рвется из кожи
в шумную площадь влекомый Арбат.

Гоголь сидит Люциферу подобный,
произошедшее он прозевал;
кто ж сочинил панегирик надгробный
тройке, которую он воспевал.

Дальше—Никитская, дальше—Тверская,
шелест бульваров, смятенье Тверской...
Кинематограф, пивную лаская,
сам не обласкан исходит тоской.

Бронзовый Пушкин, высокий и мудрый,
но равнодушный к волненью вокруг,
легкому ветру открыв свои кудри,
«Медного Всадника» шепчет невслух.

Скрежет колесный все чаще и чаще,
мимо уюта раскрытых окон,
мимо Петровки пустой и кричащей,
как сумасшедший стремится вагон.

Глубже и ниже, к подъему крутому,
где отдается с букетом в руке
Трубная Площадь бульвару Цветному,
где Достоевский застыл в столбняке.

Где-то, намного отстала Плющиха,
где-то, надолго остался Арбат;—
тихо в квартирах и в воздухе тихо,
только колеса гудят и галдят.

Ну же скорее тяни свою лямку,
пусть попроворней колеса снуют;
я ведь к любимой спешу на Солянку
и опоздал на пятнадцать минут.

Из-за того, что не прибыл я к месту
в срок, предусмотренный милой и мной,—
я, может-быть, потеряю невесту
и долгожданный мещанский покой.

Но—малозначущая единица
в круговороте забот и хлопот,—
счастьем своим я могу поступиться,
счастье мое ко мне снова придет.

Как-же республика?..В гонке и спешке
лень и медлительность ей не нужны,
ей не скрипеть на разбитой тележке,
ей и секунды в дороге важны.

Ей-бы тугие, упругие жилы,
мощные мышцы—и мы победим...
Плавай-же, плавай, мой лебедь бескрылый,
лейся по вьющимся рельсам своим.

Июнь 1929 г.

БАЛЛАДА О ШТУКАТУРЕ

Кончен завтрак и стол перекрыт,
и в печурке кора зажжена,
молода и приятна на вид,
над ребенком воркует жена.

Ты на время оставил уют,
намекнув на получку жене,
и домашние верят и ждут,
и бормочет обед на огне.

В специальном костюме своем
ты в соседний квартал заспешил,
где, недавно отстроенный дом,
щегольнуть штукатуркой решил.

И рисуя несложной мечтой
предстоящую радость семьи,
перед выходом в путь свой крутой
инструменты проверил свои.

И ни хуже, ни лучше других
(тот же способ и выучка та ж)
по стене, на канатах тугих,
на шестой ты взобрался этаж.

А внизу, по привычке слепа,
равнодушна к надземным делам,
проплывая, ныряла толпа
по домам, по гостям, по углам.

И пестра как цветной попугай,
билась улица в глади зеркал,
и обычную песню трамвай
на обычный мотив напевал.

Так привычный рукам и плечам
прост был труд и движенья просты;
ты лопаткой к нагим кирпичам
прикреплял штукатурки пласты.

Обрамляя невзрачность окон,
ты внезапно напрягся как мог,
чтоб попасть на ближайший балкон
ты момент подходящий стерег.

Но...ногами ступив на карниз
и руками канат теребя,
оступился и падаешь вниз,
и панель принимает тебя...

За какие-то тридцать рублей,
за обещанный лифчик жене,
поплатился ты жизнью своей,
неподвижный лежишь на спине.

И внизу—так недавно слепая,
ко всему, что творил ты над ней,—
вдруг тебя обступает толпа
неподдельной печалью своей...

Как случайны, смешны и глупы
эти промахи в нашей судьбе,
но поверь, не один из толпы,
позавидовать может тебе.

Ты хоть пал на каком-то посту,
хоть какое-то дело творя,
а другой—как туман в пустоту—
исчезает внезапно и зря.

Он как-будто беспечен на вид,
но его беспокоит вопрос:
то ль бандитом он будет убит,
то ли мирным бездушьем колес...

Если б мог я в сверканьи зеркал,
угадать свой конечный удел,
я давно штукатуром бы стал
и всегда б на канатах сидел.

Ноябрь 1928 г.

БОЕВОМУ ТОВАРИЦУ

Конь мой, зной звонкокопытый,
мой товарищ боевой..
Трижды пиками пробитый
бесталанный череп мой.

Как случилось, что у смерти
мы остались не в чести,
как могли сквозь эти смерчи
наши жизни пронести.

Как такие злые дали
безбоязненно прошли,
под Проскуровом не пали,
под Хотинем не легли?...

Серый конь мой,—лучшим другом
был ты мне в мятель и гром,
между Западом и Югом,
между Бугом и Днестром.

Мы прошли полями взрытыми
сквозь солнце и луну
я—руками, ты—копытами
очистили страну...

Где-ж теперь ты, как проводишь
эти мирные часы,
может-быть стреножен бродишь
у несжатой полосы?

Может-быть, смущенный пленом,
и пристыженный слегка,—
ты арбу со свежим сеном
тянешь к дому мужика?

Может-быть... да что разгадывать
твой временный покой;
все равно пока приглядывать
не мне, брат, за тобой.

И у луга заливного,
не отстать на полчаса
и у Прокопа скупого,
не выпрашивать овса.

Потому что... ведь и я то,
после горестей и гроз,
жизнь бездомную солдата
в дом спокойный перенес.

За работой, да за спорами
я время провожу,
не бряцаю больше шпорами
и шашки не ношу.

Рад работе и покою,
но тревожный до сих пор
я прислушиваюсь к вою
и рычанью вражьих свор.

Вдруг они сорвутся с цепи,
вдруг залают за плетнем,
вдруг окутаются степи
снова дымом и огнем...

Что-ж поделатъ... Мы готовы
переделатъ ремесло,
ты—на новые подковы,
я—на старое седло.

И опять мы будем вместе
в окружении былом,
между подлостью и честью,
между другом и врагом.

Прогремим полями взрытыми
сквозь солнце и луну,
чтоб руками и копытами
отстаивать страну.

Август 1928 г.

ЛЕГЕНДА

Там, где сейчас цветет лопух,
где так пустынно на току,—
совсем недавно жил петух,
Та-тах То-тох Кука-реку.

С большим венком на голове,
как всякий вождь, суров и хмур,
на каждый камешек в траве
он зазывал покорных кур.

И общепризнанный нахал,
смеясь над верой глупых баб,
любую тут же обнимал
кольцом колючих, цепких лап.

И был отцом он всех детей,
был мужем всех перистых жен
и был в республике своей
всех больше лаской окружен.

Чего же больше?.. По утрам,
едва заря разгонит тьму,—
пшено с пшеницей пополам
с крыльца посыплется к нему.

Потом, как добрый семьянин,
он, отряхавшись, воду пил,
ворчал на кур, взлетал на тын
и снова по двору бродил.

И был он счастлив от всего,
что только было на виду,
и вся обязанность его
была—людей будить к труду.

И он будил их в нужный срок...
И вновь с восхода по закат
терпел и уток и сорок
и ненавидел поросят...

...Однажды крепко хутор спал
(всего четырнадцать дворов),
никто из тьмы не ожидал
ни конокрадов, ни воров.

Крутым потоком плыл с долин
туман, подобный молоку...
Весь хутор спал, не спал один
Та-тах То-тох Кука-реку.

И вдруг совсем не в нужный срок,
он закричал, как только мог,
и крик предчувствием тревог
упал на сонный хуторок.

Но, к этим крикам с давних пор
привыкнув, будто к ходу дел,
никто не выбежал во двор,
никто в окно не поглядел.

А от заставы, тучей зла,
(Махновской славы результат)
головорезов рать ползла,
во всеоружии солдат.

Петух кричал, петух вопил,
и, отрываясь от земли,
он крыльями тревогу бил,
а люди—полночью сочли.

И безмятежен был их сон;
лишь куры слушали вождя...
И... к утру хутор был сожжен,
наивной кровью изойдя...

Потом, когда пожар потух,
когда уйти пришла пора,—
как на погост, взошел петух
на прах родимого двора.

И, опечаленный до слез,
все удивлялся: почему
его не поняли всерьез
и не поверили ему...

...А там, где был когда-то дом,
где в огород вливался двор,
теперь—крапива под плетнем,
да пней чернеющий бугор.

И ни на грядках, ни в саду,
девичий фартук не цветет,
и, напевая на ходу,
никто тропинкой не пройдет.

Как будто там прошла чума,
вселив покой, взлелеяв тишь;
лишь, о былом сходя с ума,
над речкой мечется камыш.

Да у гумна, где жил петух,
где крал он зерна на току,
увядший плачется лопух...
Та-тах То-тох Кука-реку.

Апрель 1928 г.

2

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ ЛИРИКА

СЫН ПОЭТА

*Маленькому
Валентину Корчагину*

У моей жены родился сын.
В ореоле тряпок и пеленок,
появился в доме вдруг ребенок,
толстый, краснощекий Валентин.

Был мой дом безоблачен и тих,
терпки дни, часы работы долги,
две кровати для меня и Ольги,
стул и стол для вымыслов моих.

Вот и все... покой и благодать;
и когда меня брала усталость,
тишина ничем не нарушалась,
и спокойно мог я отдыхать.

А сейчас, едва только начну
воплощать мечту стихом, иль прозой,—
детский крик вздымается угрозой,
беспокоящей мою струну.

Я сперва расстроен был и зол,
уходил на целый день из дому;
но ни у друзей, ни у знакомых
я покоя все-же не нашел.

Это тельце весом в пять кило,
куцое, нелепое, смешное,—
невзирая на нужду в покое—
все-таки домой меня влекло.

Год прошел и я почти привык;
детский крик мне больше не мешает,
а — представьте — даже помогает,
даже вдохновляет детский крик.

То слезясь, то хохотом звеня...
... Толстый сын мой, мука и отрада,
для меня ты—целая баллада,
целая поэма—для меня.

Так звени-ж, волнуйся и расти,
год за годом,— как строка за строчкой,
и ни многоточием, ни точкой,
не задерживайся на пути!

Август 1928 г.

МАТЕРИ

Там, где вербы дол окутали,
у овражьего угла,
ты живешь на том же хуторе,
где родилась и цвел.

Так же мечется околица
между взгорьями стогов,
так же речка беспокоится
под покоем берегов.

Тихнет ночь, шумит гармоника,
ветер спрятался в овес;
ты сидишь у подоконника,
поседевшая от слез.

Водит небо лунным факелом,
в камышах синее мгла,
сколько ж темных ты проплакала,
сколько горьких пролила.

Ждешь меня как роща дождика
и готовая для встреч,—
просишь дуба-придорожника
у дорог меня стеречь.

Просишь ветра, чтобы реющий,
расчищающий мне путь,
о тебе, моей седеющей,
прошептал мне что-нибудь.

Не проси-ж у ветра милости,
этих благ у ветра нет,
он далек, по ком томилась ты,
и томишься столько лет.

Он, прикинувшийся соколом,
слепо веря в свой полет,
все кружит вокруг да около
неизведанных высот...

...Мой удел мне дан по жребию
и без кровли мой приют,
много я от жизни требую,
и немного мне дают.

Но не жалуясь, не сетую,
пусть вначале труден путь,
все же песню недопетую
допою когда-нибудь.

Если-ж нет... навеки потерянный
для тебя и для отца,
я в победах неуверенный
молча буду ждать конца.

И когда подбитым соколом
дрогнет ветер у плетня,—
помяни меня, далекого,
бесталанного меня.

Июль 1926 г.

МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

*Варваре Васильевне
Курячевой*

I

Змеясь изгибами в полях,
от северной зимы,—
еще бежит чумацкий шлях
в село, где жили мы.

В село, где каждый белый дом
на все дома похож,
где в самом белом и большом —
ты и теперь живешь.

С тех пор прошло пятнадцать лет,
но,—как пути к судьбе,—
хранит земля мой детский след,
мой первый путь к тебе.

И я запомнил день и час,
когда на малый срок—
ты настрого в последний раз
мне задала урок.

Урок был труден и тяжел,
и страхами объят,
не попрощавшись я ушел,
куда глаза глядят.

И шел и плелся, как умел,
распутывал пути
и слезы лил и песни пел,
и продолжал итти.

У неизведанных дорог,—
на много лет и зим,—
мне миром задан был урок,
и я им одержим.

Пусть далека глухая дверь,
пусть непосильна кладь,
мне все-равно ее теперь
уже не избежать.

Еще далек мой верный путь,
еще не четок шаг,
еще легко мне вспомнить
об отроческих днях.

И о тебе... ты далека
и горек твой упрек,
но я отсутствую,—пока
не выполнен урок.

Пока не выпадет мой день,
завещанный векам,
пока на высшую ступень
экзамена не сдам.

Когда же сдам и запою
легко и наизусть,—
тебя, наставницу мою,—
благодарить вернусь.

В село, где каждый белый дом
на все дома похож,
где в самом белом и большом
ты и теперь живешь.

Октябрь 1928 г.

2

В жизнь мою,—угар и смуту,
в сень созревших лет,—
покажись хоть на минуту
детства млечный свет.
Все, что в путь к полудню вышло
на рассвете дня,

подкрадись ко мне чуть слышно,
отзови меня.

Может-быть опять я встречу,
встречу и верну
лучших дум моих предтечу,
лучших слов струну.
Может-быть, былым гонимый,
явится мне вдруг
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.

Под горой, под невысокой,
как легенда стар,—
шелестит между осокой
голубой Гайдар.
Там,—росистый, по баштанам,
оставляя след,—
бродит с солнцем и туманом
мой певучий дед.

До сих пор люблю и помню
лоз нестройный строй,
на горе—каменоломню
дом твой—под горой.
И как песню — твоё имя
повторяю вслух,
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.

Слишком рано над гнездом я
крылья распростер,
чтоб у дальнего бездомья
разжигать костер.
Но разжег... и мгла глухая
не убьет огня,
он горит, не потухая,
до расцвета дня.

Где же ты, в какие шири
устремлен твой взгляд,
как живешь ты в этом мире,
чем твой дух объят?
Где твои лета и зимы
завершают круг,
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.

Та ли ты, с прической пышной,
с грустью на челе,
той ли поступью чуть-слышной
ходишь по земле?
Той ли кротостью струится
материнский взгляд,
на безгорестные лица
школьников-ребят?

Обиваешь ли тропинки
на крутых местах,

вышиваешь ли барвинки
на чужих холстах,
со старинной мандолиной
делишь-ли досуг,
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.

Ты мне первая когда-то
руку подала;
в детстве, лаской небогатом,
матерью была.
Ни поэмам, ни рассказам,
не воздать вполне,
скольким я тебе обязан
в том, что есть во мне.

Жди-ж меня... как утешенье
я к тебе приду,
под баштанное цветенье
в будущем году
озарить твои седины,
исцелить недуг,
мой, единственный, любимый,
одинокий друг.

Сентябрь 1929 г.

ЭЛЕГИЯ

*Памяти старой Ганны
из Бутова-хутора.*

В ложбинах, под откосами
 попынь да лебеда;
меж вербами и лозами
 белеет слобода.

Вишневая околица
 колышется в дыму
и клонится и молится
 неведая кому.

У речки над осоками
 дубы, построясь в ряд,
вершинами высокими
 о прошлом говорят.
Их ветки древним чудищем
 в простор вознесены,
над прошлым и над будущим
 прохладны и темны.

Забыться мне не хочется
и вспомнить не могу...
Ты спишь, моя пророчица
под вербой на лугу.
Гуторит с ветром мельница,
воркуют жернова,
и кажется и верится,
что ты еще жива.

Но ты ушла с потемками
в тернистые века,
забытая потомками
и близким далека.
Лишь мне остались дальние —
как дороги они —
слова твои прощальные:
«Найдешься — помяни».

Ой, дни мои последние,
неладные дела...
ты вещая, столетняя
у мельницы жила.
Непонятый, обиженный,
бросая мать и дом, —
я так любил у хижины
грустить с тобой вдвоем.

До холодка полночного
по вечерам и дням,

не тыль тогда пророчила
пути моим огням.
И утешая баловня
возвратностью потерь,
так слепо предсказала мне
все, чем живу теперь...

И вот ушла, не ведая;
лишь память берегу;
похоронили светлую
под вербой на лугу...

...У речки, над осоками,
дубы, построясь в ряд,
вершинами высокими
о прошлом говорят.
О прошлом бредит мельница
и мечется в бреду...
Спи, спи-ж, моя отшельница,
я больше не приду.

Июль 1924 г.

ЭЛЕГИЯ

*Федору Николаевичу
Михальскому*

Под стенанья детских лет,
как под шелест ив,
проводил я мой рассвет
к полдню заспешив.

Мне их не в чем упрекнуть
прожитые дни;
кое-как, да как-нибудь
пробрели они.

В чужедальние края
радугой маня,
юность буйная моя
увлекла меня.

Как для бешеных погонь,
в бурю, тишь и зной,
не по силам резвый конь
бьется подо мной.

И пружиня повода,
шпоры дав коню,
сам не знаю я куда
жизнь мою гоню.

На восход, иль на закат
прогремит мой путь,
только вижу, что назад
мне не повернуть.

И боюсь... близка пора,—
под мятели взмах
станет осень у двора,
с сединой в висках.

Еле тронутый весной,
юность выюгам дам;
что же станется со мной
к тридцати годам?

Чем я буду, что я есть?
Скоро-ль быть беде?
Долго-ль голову мне несть
и оставить — где?

Мраморный ли пьедестал,
или холм, да клен,
скажут миру чем я стал
для иных времен.

Сентябрь 1928 г.

ТОВАРИЩ

Кое-как дотацив до покоя
беспокойств непременно кладь,—
все мы любим, припомнив бывшее,
о далеких друзьях вспоминать.

Настоящее буднями смято,
но в беспечном и буйном былом
у меня был товарищ когда-то,
и сейчас это—память о нем.

Коренастый как я, невысокий,
как и я, то — разгулен, то — тих,
только детски-округлые щеки
розовели приглядней моих.

Уходя в незнакомые дали,
в незнакомые двери стуча,
молодые,—мы молодость гнали,
как ездок рысака — сгоряча.

В бедах-радостях — лучший из лучших,
презиравший оседлость и страх,—
где же, где ты теперь, мой попутчик,
мой сподвижник в несложных боях?..

...Может-быть,—безобидный и кроткий,—
ты случайно обидел кого,
и теперь часовым и решеткой
отгорожен от мира всего.

Океан-ли безвыходный гонит
по течению—парусник твой,
иль обиженный соснами—стонет
ветер дикой тайги над тобой.

Ты ль, моряк, одержимый отвагой—
покорять горизонты уплыл,
ты ль—остался таким же бродягой
и таким Дон-Кихотом — как был...

...Память, память, плохую услугу
оказать пожелала ты мне;
почему-бы пропавшему другу
не бродить по чужой стороне.

Лучше б он заблудился далеко,
устремляясь в чужие края,—
чем твое неусыпное око,
чем жестокая правда твоя...

Ни к чему мне мои утешенья
сквозь надежд переменчивый дым,
вижу я,—как в горячке сраженья,—
мы с тобой по окопам лежим.

Почему не лежали мы рядом,
под напором громов раскидных;
разорвало б обоих снарядам,
или были бы оба в живых...

...Как помешанный после напасти
заметался я в дымном аду;
находил, подбирал твои части,
но тебя... до сих пор не найду.

Так закончилась наша охота,
жизнь у каждого долг свой взяла;
так из двух,—одного Дон-Кихота—
крылья мельницы сшибли с седла.

Апрель 1928 г.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

В трехстах верстах от Киева, на западе Украины,
не думая о Западе, не зная где Восток,
заросший и запущенный, как садик без хозяина, —
разлегся тихий, маленький, зеленый городок.

Кругом поля с кустарником, вокруг леса с полянами,
и он, за цветом Запада следивший столько лет, —
доволен как игрушками — мостами деревянными,
высокими, веселыми, каким подобных нет.

Он стар, как первый колокол, как сказки об
Иванушках,
и сказку былью делая, не по его ль дворам
играют с кошкой голуби, цветет полынь на камушках,
и совий вой над вербами плывет по вечерам.

Меж скалами, меж вербами, ленивыми изгибами,
о чем-то будто думая колышется река,
дома в ней отражаются ныряющими глыбами,
сливаются, полощатся и тонут облака.

Куда идет, зачем живет—не знает и не ведает,
но от зарниц лазоревых до розовых зарниц
поет и песни слушает, трудится и обедает
и некогда следить ему за модами столиц...

* * *

Красивый и неряшливый. Нескладный и диковинный.
Скажи мне, перегнувшийся, который тебе год,
каким народом, племенем дворцы твои окованы,
кто надписи оставил там, у башенных ворот?

Об этом пусть поведаст хвастливая история,
а мне,—твое сегодня, в пышном шелесте садов,
а мне,—твои цветущие холмы да плоскогория,—
дороже чем история десятков городов.

Усеян ты как осыпью старинными костелами,
церквами, синагогами всех вер и всех богов,
и тут-же—нивам кланяясь верхушками тяжелыми,—
кадят земной премудростью ряды кривых стогов.

Не я ли в пору раннюю, за венчанными хатами,
в садах не огороженных черешни воровал;
не я ли в пору позднюю с чернявыми дивчатами
пел песни дедов-прадедов и в пижмурки играл.

Не я ли дни с неделями, что книги перелистывал,
не я ль хвалился юностью... да что тут говорить,

от юности безудержной, от резвости неистовой,
осела и задумалась былая моя прыть...

* * *

Любимый мой, зеленый мой, привет тебе из
Севера,
от поездов, что ползают, пугая и звеня,
от стен Кремля великого, от камня вечно серого
и главное, хороший мой,—конечно от меня.

Я так хотел бы вырваться к цветной твоей
обители,
чтоб рассказать садам твоим, вздыхающим росой,
как без вины, без жалости в пути меня обидели,
какие тучи тяжести висели надо мной.

Но... мир тебе в садах твоих; я не устал от бурь
еще;
пришиблен этим грохотом и нуждами гоним,
я нужен здесь как праздники для жизни этой
будничной,
как доктор для чахоточных я здесь необходим.

А если мало праздников дышащим пылью зданиям
и если руку доктора кусать начнет больной—
я на рычанье хрипкое своим взмахну рычанием,
здоровым, освежающим как шум дождя весной.

И жизнь свою дешевую здесь не отдам я дешево,
и чашу не допитую опять налью по край...
Прощай, прощай, любимый мой, всего тебе хорошего,
не жди меня в садах своих и злом не поминай.

Июль 1924 г.

ПРОЕЗЖИЙ ШЛЯХ

В степи ни звука, ни души;
ужель весь мир притих...
Иду в предутренней тиши
безбрежьем трав степных.

Проезжий шлях, осиротев,
змеей убитой лег
и шепчет ветру нараспев
о горестях дорог.

О том, как много перенес,
как тяжко он избит,
слепой округлостью колес
и тупостью копыт.

Как у равнин, ложбин и скал,
змеясь то здесь, то там,
свои концы он растерял
запутал счет векам...

И, робко жалобы излив,
ответа ветра ждет;
а тот, заносчив и шумлив,
лишь о себе поет.

О том, как тесен белый свет
и как просторна ночь,
о доблести своих побед,
о радости и проч...

Из века в век, до этих пор,
в безлюдии ночном,
ведется этот разговор,
все об одном и том.

Тот — угнетен своей судьбой,
тот — буйством одержим...
И никогда между собой
не сговориться им...

Упрямая.. В свои стихи,
как будто невпопад,
я, — кроме прочей чепухи,
вкрапляю правды яд.

Прочтя нехитрый этот стих,
ужель ты не поймешь,
что я посадкой плеч моих
на битый шлях похож.

Весь груз невзгод моей страны,
все тяжести войны,
я на плечах своих пронес
сквозь дни огней и гроз.

А ты... чем одержима ты
в рассвет своей поры?..
Тебе бы песни да цветы,
гулянки да пиры...

Оставь меня, не для того
я выжил от ножа;
уйди в безделье своего
шестого этажа.

А я останусь тут, внизу,
карабкаться и ждать
и будь покойна — донесу
мне врученную кладь.

Уйди и знай, — пройдут года
подобные векам;
как шляху с ветром — никогда,
не сговориться нам..

Февраль 1929 г.

СЕНТЯБРЬ

*Последнему из могокан—
Владимиру Ивановичу Никулину*

Скоро кончится дачный сезон,
скоро шумный, кокетливый сквер, —
облетевшей листвой обнесен, —
загрустит, неприветлив и сер.

Теплым солнцем весны возрожден,
но уже по осеннему стар,
будет никнуть и ныть под дождем
ласки листьев лишаясь — бульвар.

От дождя станет скользкой стезя,
и под ветренный говор и гуд,
шелест книжки под мышкой неся,
дети в школу, резвясь, побегут.

Август выжелтит зелени вязь,
к ноябрю подберется зима;
на остывшее небо косясь,
о дровах замечтают дома.

И опять мы в домах, и опять
нам придется за дело засесть,
в окна новые стекла вставлять
и замазывать щели где есть...

Друг мой крепкий, мне лета не жаль,
лето снова придет как-нибудь,
жаль, что плеч этих смуглую сталь
нам придется в тряпье завернуть.

Обнаженный и гибкий как стих,
первобытно здоров и хорош,
скоро легкость движений своих
ты тяжелым сукном облечешь.

На открытую шею свою,
на предплечий загар и закал,
ты наложишь мехов чешую,
чтоб не так тебя холод щипал.

Но не в силах сдержать свою прыть
и на новые штурмы готов,
станешь пыльные лыжи чинить
и оттачивать когти коньков...

... А пока еще сквер не зачах,
не осыпались листья пока, —
жидкий ситец открытых рубах —
не стремится под сень пиджака.

И в предчувствии будущих вьюг,
что нагрянут весь мир серебра,—
мы еще порезвимся, мой друг,
до сереющих дней ноября.

Август 1929 г.

3

ПО РАЗНЫМ
ПОВОДАМ - УЛЫБКИ

СЛУЧАЙ В МОНРЕАЛЕ

Предки лгали, деды ввали,
я ль в наследьи виноват...
Дело было в Монреале
года три тому назад.

Монреаль, как вам известно, —
(а известно это всем)
живописнейшее место
для эскизов и поэм.

Он и в фауне и флоре
лучше Африк и Флорид;
тут и горы, здесь и море,
синь и зелень и гранит.

Если б был я Тицианом,
посетив эти места —
на Венеру с толстым станом
я не тратил бы холста.

Я бы в красках прихотливых,
не жалея бранных сил,
в небывалых перспективах
этот город воскресил.

И в картинной галерее
удивлялся б ротозей
и манере и затее,
и правдивости моей.

И в припадке впечатленья,
покорившийся страстям,
кто-нибудь мое творенье
распорол бы пополам.

А по эдакой причине,
года этак через три,
кучи книжек о картине
написали б Грабари.

И со шрамом в три аршина,
сквозь веков слепую даль,
пробиралась бы картина
под названьем «Монреаль»...

Если б, некоторым часом,
я Шаляпиным вдруг стал,
я бы самым страшным басом
этот город воспевал.

Взяв профундисто-басисто,
я бы так его вознес,
что Народного Артиста
дал мне сразу б Наркомпрос.

Дал бы щедро, даже гордо,
чтобы после, невпопад,
за один фальшивый «форто»
отобрать его назад.

Но былым уже пригретый,
невзирая на скандал,
город, громко так воспетый,
ничего-б не потерял.

Эти горы — будто тучи,
это море — будто мир,
по балконам плющ ползучий
и комфорт больших квартир...

Мистер сядет на диване,
ноги выбросит на стол,
скажет горничной, иль няне,
чтоб сосед к нему зашел.

И войдет сосед, кивая,
рад подвыпить после дел
и до самого «гуд-бая»,
все «ол-райт», да «вэри-вэл»...

Выйдет стройненькая Мери
за последнее жилье;
милый Билли, среди прерий,
с поцелуем ждет ее.

И поймет она, встречая,
как он мужествен и смел,
и до самого «гуд-бая»,
все «ол-райт», да «вэри-вел»...

Город прериями дышит,
мреют горы позади,
море катеры колышет
на вздыхающей груди...

Я всю жизнь мою разлажу,
мне до смерти будет жаль,
если к этому пейзажу
не подходит Монреаль.

Кто б поверил, что бесплатно
что хочу я — то беру,
кто б подумал, что так складно
и так здорово я вру.

Дело в том, что... извиняюсь,
как ни стыдно, как ни жаль,
все-же каюсь, я не знаю,
что такое Монреаль.

Просто вычитал я где то
это слово под шумок
и решил, что для поэта
не помеха сотня строк.

Относительно ж «гуд-бая»
и других таких приправ, —
даже города не зная,
я уверен, что я прав.

Потому что где ни глянь ты,
кроме разве наших мест —
и «гуд-баи» и «ол-райты»
я уверен — всюду есть...

Предки лгали, деды врали,
я ль в наследьи виноват...
Дело было в Монреале,
года три тому назад.

Декабрь 1927 г.

БАЛЛАДА О ЦИВИЛИЗАЦИИ

Дорогой обыватель, по милости мод,
ты роскошным павлином живешь;
но припомни, стервец, девятнадцатый год,
на кого ты тогда был похож.

Ты теперь удивляться уже перестал,
окруженный избытком машин,
а тогда — я уверен — тебя удивлял
каждый день по десяткам причин.

Чуть заслышав движенье смотрел ты на дверь,
нерешительно темя скребя...
Так поверь же, что это не выдумка — зверь,
удивившийся вроде тебя...

... Добывая семейству насущную снедь
и стараясь поменьше шуметь,
шел по старому лесу, нестарый медведь
вперевалку, как всякий медведь.

Был серебряный вечер, струилась луна,
в гуще веток с ней спорила мгла;
но в берлоге с детьми голодала жена
и луну понимать не могла.

Шел медведь и вздыхал, тяжелой думой томим;
целый вечер ему не везло...
И внезапно, как мир широко перед ним
обнаженное поле легло.

И... жестоких облав избежавший не раз
и помеченный зубьями вил,
перед тем, что он видел и слышал сейчас,
он в немом изумленьи застыл.

Из-за сонных холмов, что синели вдаль,
под сгнанныя травы и земли
три грохочащих танка, в дыму и в пыли,
по медвежьим лениво брели.

На чудовищных лапах мертвела трава...
Вдруг, почуяв беду над собой,
стаей вспугнутых птиц, из какого-то рва,
взмылись люди, готовые в бой,

и рванулись на танки, винтовки поднимая...
... Плавал дым, пулемет клокотал...
И подумал медведь, что подобных облав
ни один еще зверь не видал.

Люди прыгая падали... и озверев
поднимались опять и опять,
но об крепость брони разбивался их гнев,
а броня не хотела сдавать.

Не меняя пути, не волнуясь ничуть,
танки шли, неприступнее скал
и, как шпалами — трупами, страшный их путь
по следам их колес выростал...

... Дорогой обыватель, когда Эдиссон
дал впервые тебе граммофон —
ты не верил ушам и разинув свой рот —
удивлялся, что ящик поет.

Так медведь удивился... поднявшийся вздох
у разинутой пасти заглох,
и не веря глазам и не чувствуя ног
он, застыв, — шевельнуться не мог.

Танки медленно шли... и подумал медведь,
что не в силах он больше смотреть,
что еще приключись вот такая напасть —
и он в обморок может упасть.

И решив поскорей поделиться с женой
дикой новостью этих облав, —
поворчал на луну, покачал головой
и ушел ничего не сказав...

... Очень жаль, что медведь,
не сумел прореветь
все, что думал по этому поводу.

Декабрь 1927 г.

ХИТРАЯ СКАЗКА

Это было в лесах Приднепровья,
где сбивается путник с дороги,
где так редки людские становья,
и так часты медвежьи берлоги.

Среди леса, как полночь густого,
в ветхой хижине, дико и глухо,
будто в присказке, трижды не новой,
жили-были старик со старухой.

Днем и ночью в открытые двери,
временами нуждаясь в услуге,
заходили к ним всякие звери,
посидеть, поболтать на досуге.

Так, заботясь, любя и болтая,
доживали они свои сроки...
Видишь, милая, глупость какая
заплелась в мои умные строки.

А доверившись тону начала,
где в порядке все знаки и точки,
посмотри, как серьезно звучала
эта дрянь до двенадцатой строчки.

И мытарства ушедших от мира,
и любовь к недомашним животным,
и эскиз, и этюд, и сатира,
и стремленье к широким полотнам.

Ну, так вот... с позапрошлого мая,
мы особенно близкими стали,
и друг дружку в потьмах обнимая
о совместном грядущем мечтали.

О светлицах в кайме безделушек,
о дочурке с моими глазами,
о покое ковров и подушек
и о счастье, что выкуем сами.

... Эту сказку о жизни гулящей
я нарочно заплел в эти строки,
чтоб сказать по возможности мягче,
что и нас подвели наши сроки.

Что уже не могу я так круто
обнимать все одну и все ту же;
с каждым днем для меня, почему-то,
ты становишься хуже и хуже.

И все реже тебя обнимая,
я дарю тебе ласку как милость...
Видишь, милая, глупость какая
из тебя и меня получилась.

А припомнив горячность начала,
где мечта и весна и погода,
посмотри, как серьезно звучала
эта дрянь до текущего года.

Март 1927 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЧУЖОГО ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Это кстати ли, не кстати ль,
но не будучи жестоким,
ты простишь меня, читатель,
за упадочные строки.

Я не нытик и не скептик,
но невзгоды так зажали,
что коль можешь — дай рецептик
на лекарство от печали.

Не считая себя лишним
среди множества поэтов,—
стыдно жаловаться ближним
и просить у них советов,

но приходится... к тому же,
если я всегда тревожен,
то и мне, чем дальше — хуже
и тебе, читатель, — тоже.

Потому-что, в дни сомненья,
несмотря на вдохновенье,
лучшие мои творенья
не находят оперенья.

Например: вчера, не даром,
репортера суетливей,
копошился во мне Байрон,
с «Чайльд-Гарольдом» в перспективе.

Жоржи Занд во мне галдели
мягко, женственно, цветисто,
и высказывался Шелли
против империалистов.

И сейчас во мне томится
что-то вроде «Иллиады»,
но едва начнет родиться, —
как стеной встают преграды.

И слегка коснувшись лиры,
пропадают, бесталанны,
и Гомеры и Шекспиры
и Гюи-де-Мопассаны...

Дело в том, что почему-то,
все права на то имея,
ни уютя, ни приюта
не сумел нажить в Москве я...

... Люди по миру шагают
гладко, ловко, словно по льду,
люди пьесы сочиняют
на здоровье Мейерхольду.

В бедный стаж свой, без стеснений,
ставят надобную дату
и собрание сочинений
предлагают Госиздату.

Дело мастера боится;
книги выйдут из печати
и от Лежнева до Жица
все возьмутся величать их.

И уже писатель в моде:
нажил деньги, создал славу,
и в Дом Герцена он ходит
есть бифштексы, пить «Абрау».

Все легко ему дается,
потому что в этом мире
у него всегда найдется
и квартира и в квартире

ему горе незнакомо;
у меня-же, как ни странно,
нет ни улицы, ни дома,
где-бы жил я постоянно.

Шатко по миру скитаюсь,
не прописанный, кочую,
у друзей млекопитаюсь,
у приятелей ночую.

Признает меня «Прожектор»,
«Новый мир» дает авансы;
но не в силах фининспектор
уяснить себе мой адрес.

Не могу его я встретить,
пригласить на чашку чаю,
не могу ему ответить
сколько денег получаю.

Но скажу, что, без квартиры,
не достигли бы осанны,
ни Гомеры, ни Шекспиры,
ни Гюи-де-Мопассаны.

А, — уставшему скитаться,
потерявшему отчизну, —
как-же мне не спотыкаться
по пути к социализму.

Декабрь 1928 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

Взбудораженные будни

	<i>Стр.</i>
1 Московское утро	7
2 Ливнем Октября освежена	10
3 Пятилетка	13
4 Последний извозчик	17
5 Трамвай № 15.	19
6 Баллада о штукатуре	23
7 Боевому товарищу	26
8 Легенда	29

2

Безответственная лирика

1 Сын поэта	35
2 Матери	37
3 Моей учительнице	40
4 В жизнь мою,—угар и смуту	42
5 Элегия	46
6 Элегия	49
7 Товарищ	52
8 Каменец-Подольский	55
9 Проезжий шлях	59
10 Сентябрь	62

По разным поводам—улыбки

	<i>Стр.</i>
1 Случай в Монреале	67
2 Баллада о цивилизации	72
3 Хитрая сказка	76
4 Размышления у чужого парадного подъезда	79

Цена 1 руб.

Ком.

С К Л А Д И З Д А Н И Я
К Н И Г О Ц Е Н Т Р О Г И З а

М о с к в а, центр, Кузнецкий, 16. Ленинград,
Ленотгиз, Проспект 25 Октября, 28. Тел. 5-34-18.

В экземпляре книги, который мы сканировали, были выделены фрагменты, которые можно было использовать при написании доноса.

Мы решили сохранить страницы с маргиналиями в отдельный раздел в конце книги.

Вон, с портфелем, важно вышел мой сосед,
он честь-честью приобут и приодет,
а недавно он, спросонья, глуп и вял,
в рваных шлепанцах у примуса торчал.

Вон, Филипповна, приличная на вид,
приосанившись, на рынок семенит,
а недавно она, с горя или так,
чуть не съела всю квартиру на тощак.

Вон, трамваи, в длинный выстроившись ряд,
как солдаты на учении стоят,
а на рельсах захромавший ломовой
рвет и мечет, но с дороги—ни ногой.

А напротив открывается окно,
отлетает занавесок полотно,
и у зеркала—забывшая про стыд—
полуголая красавица стоит.

Через улицу (окно почти в окно)
мы друг с дружкой познакомились давно;
но, как водится в знакомствах из окна,
незнакомы нам друг дружки имена.

Правя волосы и шпильками звеня,
вот опять она заметила меня;
тело наскоро халатом обвила,
заметалась покраснев и... не ушла...

— Успокойся дорогая визави,
раньше времени к соблазнам не зови;
позже, может-быть, и счастье ты мне дашь,
но сейчас ты только портишь мне пейзаж.

Я не праздный соглядатай этих дней,
мне отсюда только выше и видней;
и сейчас-же, эту сутолку и пруть
я попробую на песню перелить.

Как бы ни были гремучи времена,
песня все-таки желанна и нужна,
посмотри на эти будни и поверь,
нам особенно нужна она теперь.

Ты, бездельница, в окно только взгляни,
полюбуйся как живучи наши дни,
как—проснувшись, приободрившись едва,
сколько дел уже наделала Москва.

Июнь 1928 г.

Выйдет стройненькая Мери
за последнее жильё;
милый Билли, среди прерий,
с поцелуем ждёт ее.

И поймет она, встречая,
как он мужествен и смел,
и до самого «гуд-бая»,
все «ол-райт», да «вэри-вел»...

Город прериями дышит,
мреют горы позади,
море катеры колышет
на вздыхающей груди...

Я всю жизнь мою разлажу,
мне до смерти будет жаль,
если к этому пейзажу
не подходит Монреаль.

Кто б поверил, что бесплатно
что хочу я — то беру,
кто б подумал, что так складно
и так здорово я вру.

Дело в том, что... извиняюсь,
как ни стыдно, как ни жаль,
все-же каюсь, я не знаю,
что такое Монреаль.

Просто вычитал я где то
это слово под шумок
и решил, что для поэта
не помеха сотня строк.

Относительно ж «гуд-бая»
и других таких приправ, —
даже города не зная,
я уверен, что я прав.

Потому что где ни глянь ты,
кроме разве наших мест —
и «гуд-баи» и «ол-райты»
я уверен — всюду есть...

Предки лгали, деды врали,
я ль в наследьи виноват...
Дело было в Монреале,
года три тому назад.

Декабрь 1927 г.

А доверившись тону начала,
где в порядке все знаки и точки,
посмотри, как серьезно звучала
эта дрянь до двенадцатой строчки.

И мытарства ушедших от мира,
и любовь к недомашним животным,
и эскиз, и этюд, и сатира,
и стремленье к широким полотнам.

Ну, так вот... с позапрошлого мая,
мы особенно близкими стали,
и друг дружку в потьмах обнимая
о совместном грядущем мечтали.

О светлицах в кайме безделушек,
о дочурке с моими глазами,
о покое ковров и подушек
и о счастье, что выкуем сами.

... Эту сказку о жизни гулящей
я нарочно заплел в эти строки,
чтоб сказать по возможности мягче,
что и нас подвели наши строки.

Что уже не могу я так круто
обнимать все одну и все ту же;
с каждым днем для меня, почему-то,
ты становишься хуже и хуже.

И все реже тебя обнимая,
я дарю тебе ласку как милость...
Видишь, милая, глупость какая
из тебя и меня получилась.

А припомнив горячность начала,
где мечта и весна и погода,
посмотри, как серьезно звучала
эта дрянь до текущего года.

Март 1927 г.